





Иван Бунин

Жизнь Арсеньева

Юность

ПОЛКА

альпина
ПРОЗА

Москва, 2025

Иллюстрация на фронтисписе:

Иван Бунин. 1930-е годы.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Текст печатается по изданию: Бунин И.А. Собрание сочинений в 9 томах.

Т. 6. — М.: Художественная литература, 1966.

УДК 821.161.1-83

ББК 84(2=411.2)

Б90

Бунин И.

Б90 Жизнь Арсеньева / Иван Бунин. — М. : Альпина Паблишер,
2025. — 304 с. : ил. — (Главные книги русской литературы).

ISBN 978-5-9614-9214-9

УДК 821.161.1-83

ББК 84(2=411.2)

ISBN 978-5-9614-8300-0 (серия)

ISBN 978-5-9614-9214-9 (рус.)

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу tylib@alrina.ru.

© Чувиляев И., предисловие, 2022

© ООО «Альпина Паблишер», 2025

Предисловие «Полки»

*Роман первого русского нобелевского лауреата:
ностальгия по утраченной усадебной идиллии
и традициям классической русской литературы.*

Иван Чувилев



О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

История становления личности юного дворянина, поэта Алексея Арсеньева, от младенчества до зрелости. Первые воспоминания и впечатления, учеба в гимназии, первые влюбленности — в крестьянку и соседку, познание смерти, иллюзии и увлечения, путешествия. Из всех этих осколков Бунин воссоздает быт России XIX века и подводит итог всей русской литературе этого периода.

КОГДА ОНА НАПИСАНА?

Бунин начал работу над «Жизнью Арсеньева» летом 1927 года, в переломный момент своей жизни: за несколько месяцев до этого он познакомился с писательницей Галиной Кузнецовой, которая стала его ученицей и фактически второй женой, при живой Вере Муромцевой-Буниной. Кроме того, в начале того же года у Бунина впервые появился собственный дом — вилла в Грасе на юге Франции.

Кузнецова вела в своем дневнике достаточно подробную хронику работы над «Арсеньевым»: из ее записок мы знаем, что 9 ноября 1927 года была окончена работа над первой частью романа. В 1933-м была написана финальная, пятая часть — об отношениях Арсеньева с его возлюбленной Ликой.

Фактически, однако, работа над книгой началась гораздо раньше. По свидетельству Веры Муромцевой, впервые Бунин признался, «что он хочет написать о жизни, в день своего рождения, когда ему минуло 50 лет, — это 23 (10) октября 1920 года»¹. Уже в 1921 году появляются первые наброски к роману — «Безымянные записки» и «Книга моей жизни». Подступом к роману можно считать и «Цикад» (1926) — произведение сложной жанровой природы, которое критик определял как «лирическую поэму в прозе»².

КАК ОНА НАПИСАНА?

Еще первые читатели «Жизни» замечали, что в ней наиболее отчетливо видны все узнаваемые элементы бунинской прозы. Пристальное внимание к деталям, оживляющие их неожиданные эпитеты, максимально субъективная передача красок и запахов. Зимняя дорога пахнет «лошадиной вонью, мокрым енотовым воротником, серником и махоркой при закуриванье», а кухня — «жирной горячей солониной и ужинающими мужиками». Небо усеяно «белыми, синими и красными пылающими звездами», море — «купоросно-зеленое».

«Жизнь Арсеньева» делится на пять книг: каждая связана с определенным этапом взросления героя. В первой — ранние впечатления, и составлена она

из пейзажей, описаний и самых смутных воспоминаний. Вторая посвящена учебе Арсеньева в гимназии — и здесь на смену природе, цветам и краскам приходит быт: дом небогатого мещанина Ростовцева, в котором живет главный герой, обстановка провинциального города и его гимназии. Третья часть — рассказ о первых влюбленностях. Четвертая — своеобразный травелог, описание путешествий героя по России. Пятая, «Лица», и вовсе отдельный рассказ, во многом похожий на будущие «Темные аллеи»: скупое и вместе с тем откровенное повествование о любви.

При этом темы не разграничены строго по главам, а плавно сменяют

друг друга. Описания природы из первой части составляют начало второй, любовные линии третьей открывают четвертую, встреча с Ликой, главным персонажем пятой части, происходит в финале четвертой.

Еще одна особенность стиля «Жизни» — монологичность повествования. Хотя уже из названия следует, что автор и герой — не одно лицо, основной массив текста — это не только воспоминания, но и рассуждения Арсеньева о русской литературе и истории, о характерах, о модах и событиях, о человеческих типах и переменах в быту. Перед нами что-то вроде заметок на полях автобиографии — и именно они превращают исповедь



Михаил Клодт. Вечерний вид в деревне. Орловская губерния. 1874 год

главного героя в нечто большее: роман о мире, который навсегда ушел и сохранился только в воспоминаниях.

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

Тексты, повлиявшие на «Жизнь Арсеньева», названы в самом романе: Бунин открыто указывает на них в лирических отступлениях о русской литературе XIX века. Важную роль в сюжете играют стихи Пушкина («...Как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил!»), Лермонтова («Какой дивной юношеской тоске... отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу!»), романы Толстого и Тургенева. Владислав Ходасевич, правда, ставил «Арсеньева» выше тургеневских романов: «Вся его вода, весь сахар... отделены и удалены».

Другие источники влияния еще очевиднее. «Жизнь Арсеньева» завершает длинную традицию беллетризированных мемуаров или автобиографических романов из жизни русского помещичьего дворянства: можно вспомнить «Детские годы Багрова-внука» Сергея Аксакова, «Детство», «Отрочество» и «Юность» Льва Толстого и написанное за десять

лет до «Арсеньева» «Детство Никиты» Алексея Николаевича Толстого, с которым Бунина связывали сложные отношения симпатии и отвращения (встретившись в 1936 году в Париже с нобелевским лауреатом, «советский граф» приветствовал его словами: «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?»).

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

«Жизнь Арсеньева» публиковалась частями с 1927 по 1929 год в «Современных записках», одном из самых заметных изданий русской эмиграции. Фактически миссией журнала было объединение всех антибольшевистских сил. В нем публиковались не только литераторы самых разных взглядов (как «почвенники» Иван Шмелев и Борис Зайцев^{*1}, так и декадентский классик Дмитрий Мережковский), но и политики, например глава кадетов Павел Милюков и экс-глава Временного правительства Александр Керенский. Первая часть «Жизни» появилась в конце 1927 года, четвертая — осенью 1929-го, причем и автор, и читатели не считали роман оконченным.

^{*1} Борис Константинович Зайцев (1881–1972) — писатель. Был участником литературного кружка «Среда». Приятельствовал с Буниным. В 1922 году получил разрешение выехать за границу для лечения и не вернулся. За границей работал в журналах «Современные записки», «Перезвоны», газетах «Возрождение» и «Русская мысль». Автор повестей, романов, сборников рассказов, пьес, мемуаров и литературных биографий писателей — Тургенева, Жуковского, Гоголя, Чехова и Тютчева.

Рассказ «Ли́ка», согласно дневникам Кузнецовой, изначально планировался как продолжение «Жизни Арсеньева», но опубликован был в 52-й и 53-й книгах «Записок» за 1933 год как самостоятельное произведение. Не вошел он и в напечатанный в том же году английский перевод «Арсеньева». Бунин включил его в роман только в 1939 году, когда роман вышел по-русски отдельным изданием.

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

Уже первую книгу «Жизни Арсеньева», опубликованную в «Современных записках», многие критики оценили как важнейшее произведение Бунина, его *opus magnum*. Владимир Вейдле в парижской газете «Возрождение» назвал его «самой исчерпывающей, самой полной, окончательной в известном смысле книгой». Кроме того, почти все рецензенты особо отмечают тесную связь романа с русской классикой. Владислав Ходасевич, тот же Владимир Вейдле, Марк Алданов^{*1}, так или иначе, строят свои отзывы на сравнениях «Арсеньева» с романами Тургенева, Толстого и Достоевского. Критик

рижской газеты «Сегодня» Петр Пильский идет дальше: он утверждает, что русская литература — ключевая тема романа. «Жизнь Арсеньева», полагал он, о том, что классическая русская литература и мир, который она описывала, нигде не исчезли: «Ни у кого больше нет такой... уверенности, что нить мира непрерывна». Более того, Пильский ставит «Жизнь» выше автобиографических произведений Аксакова или Толстого: «они однотемны», а «Арсеньева» отличает полифоничность, он выходит далеко за рамки собственно автобиографической или мемуарной прозы.

В то же время даже критики, близкие кругу Бунина, например Юлий Айхенвальд, отмечали некоторую тяжеловесность стиля: «Поистине драгоценную ткань разостлал перед нами Бунин, но ткань эта тяжела. <...> Его новому детищу не хватает легкого дыхания» (в последней фразе критик обыгрывает название бунинского рассказа). Некоторые единомышленники Бунина восприняли финальную часть «Арсеньева», «Лику», неоднозначно. Скажем, в дневниках Ивана Шмелева встречается грубый отзыв о публикации — он называет ее провалом и выносит суровый приговор Бунину: «Его

^{*1} Марк Александрович Алданов (1886–1957) — писатель, философ. В России занимался химией, выпустил книгу о Льве Толстом. В 1918 году эмигрировал, до начала войны жил в Берлине и Париже. Печатал в газете «Последние новости» исторические очерки, писал исторические романы. В 1940 году переехал в США, там работал в «Новом журнале», газете «Новое русское слово» и Издательстве имени Чехова. Дружил с Буниным и Набоковым. Алданова 13 раз выдвигали на Нобелевскую премию по литературе.

надо судить» (видимо, Шмелева смутила откровенность финальной части «Арсеньева»).

На восприятие романа серьезно повлияли споры и слухи о том, кому из русских литераторов присудят Нобелевскую премию по литературе. Всерьез рассматривалось два кандидата: Бунин и Мережковский. В дневниках Галина Кузнецова упоминает, что отношения двух влиятельных литераторов обострились почти до состояния настоящей войны. Пишет она и о том, что Мережковский неодобрительно высказывается о «Жизни Арсеньева». Но нигде, кроме этих записок, высказываний Мережковского о романе не сохранилось.

Несмотря на культурную изоляцию СССР, роман читали отдельные литераторы и в Советском Союзе — правда, отзывы своих не публиковали. Тем показательнее дневниковая запись драматурга Александра Афиногенова^{*1}: «Иссыхает воображение писателя вдали от родной страны... <...> ...Порой его краски снова играют, но именно порой... <...> ...Злобно клеветает на передовое студенчество, на революционные кружки, на рабочих и на всех тех, кто действительно жил осой жизнью...»

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

На судьбу романа огромное влияние оказало присуждение Бунину Нобелевской премии в 1933 году. «Жизнь Арсеньева» была издана на основных европейских языках — правда, под измененным и, если угодно, прямо противоположным оригинальному названием «К истокам жизни». Если русское заглавие указывает на то, что роман — биография вымышленного героя, то переводное скорее намекает на мемуарный жанр. Перевод на английский выполнил Глеб Струве в соавторстве с Хэмишем Майлсом. Британская и американская критика приняла «Истоки» холодно: суть всех отзывов сводилась к тому, что это просто достойная книга лауреата Нобелевской премии, известного по старому рассказу «Господин из Сан-Франциско». Бабетта Дейч^{*2} из *New York Herald Tribune* вовсе с самого начала припечатала «Арсеньева»: «Романом эту книгу можно назвать лишь из вежливости».

Отдельный казус произошел с французским переводом, изданным в 1935 году. Выполнил его Морис Парижанин (псевдоним Мориса Донзеля) — он же был переводчиком Троцкого и Ленина,

^{*1} Александр Николаевич Афиногенов (1904–1941) — драматург. Автор пьес «Чудак» (1928), «Ложь» (1933), «Машенька» (1940). В начале 1930-х годов руководил РАПП. В 1937 году Афиногенов был исключен из партии, но затем восстановлен. Погиб в Москве во время бомбежки.

^{*2} Бабетта Дейч (1895–1982) — поэтесса, критик, переводчица. Преподавательница Колумбийского университета. Жена переводчика и слависта Авраама Ярмолинского. Дейч переводила с русского на английский язык — стихи Пастернака и Есенина, пушкинского «Евгения Онегина». Переводы Дейч жестко критиковал Корней Чуковский: «Я только сейчас удосужился просмотреть перевод моего “Крокодила”, сделанный Бабеттой Дейч. Эта женщина меня зарезала».

журналистом коммунистической газеты *L'Humanité*, а кроме Бунина переводил исключительно советских авторов: Бабеля, Фадеева и Серафимовича. Если учесть не только отношение Бунина к лидерам большевизма (высказанное в «Окаянных днях»), но и принципиальное неприятие любой советской литературы, его сотрудничество с Парижанином выглядит как минимум парадоксально.

Сам Бунин тем временем не считал роман оконченным и на протяжении нескольких лет обдумывал идею продолжения. Александр Бабореко в своей книге о Бунине приводит цитату из его записных книжек, в которой даже

указывается, что будет с Арсеньевым дальше: «Вот молодой человек: ездит, все видит, переживает войну, революцию, а затем и большевизм, и приходит к тому, что жизнь выше всего, и тянется к небу». Так или иначе, к роману Бунин больше не возвращался.

В Советском Союзе роман впервые вышел в составе девятитомника Бунина в 1966 году и с тех пор много раз переиздавался. В 2000 году Алексей Учитель снял по сценарию Авдотьи Смирновой фильм «Дневник его жены» — о драматических отношениях внутри любовного треугольника в доме Бунина, приходящихся на время создания романа.



Галина Кузнецова, Вера Муромцева и Иван Бунин
на церемонии вручения Нобелевской премии. Стокгольм, 1933 год

БУНИНУ ДАЛИ
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ
ЗА «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»?

В литературе о Бунине часто встречается утверждение, что Нобелевскую премию писатель получил именно за «Жизнь Арсеньева». Формально это не так: официальная формулировка комитета — «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Кроме того, о возможности его награждения говорилось задолго до публикации «Арсеньева»: еще в 1920-е годы в эмигрантской среде велись споры о том, кто из русских писателей станет первым лауреатом. Наиболее вероятным кандидатом считался Максим Горький, кроме него и Бунина всерьез говорилось о возможности награждения Александра Куприна и Дмитрия Мережковского.

Надо заметить, что политической составляющей в решении Нобелевского комитета не было — Бунина наградили не в пик советской литературы. Все споры о премии сводились к одному вопросу: кто из литераторов (Горький, Куприн, Мережковский или автор «Жизни») наиболее достоин получить премию за сто лет русской литературы. Так, чтобы это была премия одновременно и Толстому, и Чехову, и Достоевскому, и Тургеневу. В этом смысле «Жизнь» только продемонстрировала, что Бунин — идеальный кандидат на такую роль.

«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА» —
ЭТО РОМАН ИЛИ
АВТОБИОГРАФИЯ?

И сам Бунин, и первые критики романа не рассматривали его как автобиографию. Владислав Ходасевич в своей рецензии определял «Арсеньева» как «вымышленную автобиографию», то есть попытку отдать свои воспоминания и переживания другому персонажу.

Тем не менее автобиографические мотивы в романе важны и заметны. Арсеньев движется по тому же пути, что и Бунин: бросает гимназию, работает в провинциальной газете, путешествует, переживает роман с коллегой по редакции. Важность собственных воспоминаний отмечает в дневниках и Галина Кузнецова: Бунин, по ее словам, «так погружен в восстановление юности, что глаза его не видят нас».

У многих героев «Жизни Арсеньева» есть узнаваемые прототипы, автобиографичны многие факты и детали. Хутор Каменка, где рос Арсеньев (одинокая усадьба среди пустынных полей, где «зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов»), списан с хутора Бутырки Елецкого уезда, где протекало детство Бунина. Бабушкино имение Батурино — это Озерки, бунинское родовое гнездо. Запивающий временами отец героя, игрок, промотавший состояние, оборонявший Севастополь в Крымскую кампанию, азартный,

вспыльчивый и беспечный усадебный дворянин, — портрет отца писателя. Братя Бунина — Юлий, народоволец, арестованный по доносу соседа, и трудолюбивый Евгений — выведены в романе как Георгий и Николай Арсеньевы. Прототип несчастливого и чудаковатого домашнего учителя Баскакова в реальности носил фамилию Ромашков, а мещанин Ростовцев, у которого живет нахлебником Арсеньев, поступив в гимназию, — Бякин. Автобиографической основой романа Арсеньева с Ликой были отношения самого Бунина с Варварой Пашенко³.

Но память о юности — лишь часть поэтики романа, пусть и важная. Один из самых внимательных читателей Бунина, Федор Степун, указывал на функцию автобиографических мотивов в «Арсеньеве»: именно воспоминания писателя о детстве и юности создают эффект одновременно живой и ушедшей реальности. Он отмечает «некое непередаваемое словами звучание тверди небесной, той тверди духовной, под которой развертываются судьбы России и судьба Арсеньева. С этой музыкой сфер сливаются воспоминания Арсеньева не только о своих предках, не только о раннем влиянии на него великих зачинателей новой русской культуры, но и о гораздо более древних звуках, неизвестно как дошедших до мальчика».

Самый внятный ответ на вопрос об автобиографичности «Жизни Арсеньева» дала вдова писателя Вера

Муромцева-Бунина: «Конечно, в “Жизни Арсеньева” очень много биографических черт, взята природа, в которой жил автор, но все художественно переработано и подано в этом романе творчески, и, может быть, подано так потому, что автору хотелось, чтобы это было так в его жизни».

Юрий Мальцев в своей биографии Бунина отмечает родство «Арсеньева» с «Поисками утраченного времени». Правда, с поправкой на то, что цикл романов Пруста Бунин прочел, уже написав первые части собственной книги. Родство их, по словам Мальцева, заключается в том, что обе книги не пытаются пересказать или реконструировать события — они заняты феноменом памяти вообще. «Жизнь Арсеньева», пишет Мальцев, — это «не воспоминание о жизни, а воссоздание своего восприятия жизни и переживание этого восприятия»⁴.

Любопытно, что на папке с рукописью «Арсеньева» жанровое определение «роман» написано в кавычках. О желании «начать книгу, о которой мечтал Флобер, “Книгу ни о чем”, без всякой внешней связи, где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть» Бунин писал в дневнике 27 октября — 9 ноября 1921 года: именно в это время писатель делает первые наброски к будущей «Жизни Арсеньева».

«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА» — РОМАН ВОСПИТАНИЯ?

С точки зрения сюжета «Жизнь» можно отнести к жанру романа воспитания: здесь действительно рассказана история становления и взросления главного героя. Но есть одно важное отличие. Классический роман воспитания рассказывает о том, как сама жизнь, череда событий, с которыми сталкивается герой, формируют его личность. Дэвид Копперфилд Диккенса через лишения и унижения приходит к успешной литературной карьере. Фредерик Моро из «Воспитания чувств» и Александр Адуев из «Обыкновенной

истории» Гончарова переживают крах иллюзий и юношеского романтизма, становятся обывателями. В этом смысле с Арсеньевым ничего не происходит. Его не обманывают, он не оказывается жертвой интриг, не вынужден предавать свои идеалы. Главное в его воспитании — впечатления от книг, путешествий и встреч. Чтение Пушкина и Лермонтова, наблюдения за природой и похоронами помещиков, влюбленности в коллег, крестьянок и жительниц соседних имений. Но в первую очередь — игра света в цветных стеклах окон родного дома, цвета полей и неба, запахи садов и городов, которые молодой литератор Арсеньев и описывает.



Гимназисты. 1900-е годы.

Во второй части «Арсеньева» герой без объяснения причин бросает гимназию

ПОЧЕМУ ФАМИЛИЯ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ АРСЕНЬЕВ?

В фамилии главного героя Бунин зашифровывает одну из важных тем романа — его связи с классической русской литературой. Арсеньева — фамилия бабушки Лермонтова. В истории русской литературы XIX века она занимает место где-то рядом с Ариной Родионовной. Только няня Пушкина — носительница народной мудрости и фольклора. А Елизавета Алексеевна Арсеньева — хранительница патриархальной дворянской культуры, строгий и внимательный воспитатель юного и пылкого поэта. Таким образом, само имя героя тесно связывает его с традицией, с Россией первой половины XIX века.

ПОЧЕМУ АРСЕНЬЕВ УШЕЛ ИЗ ГИМНАЗИИ?

Во второй части «Арсеньева» герой внезапно, без объяснения причин, бросает гимназию — автор только сообщает об этом читателю. Но прежде в некотором смысле эмоционально его к этому готовит: предыдущие главы связаны с попыткой привлечь Арсеньева в «дворянский гимназический кружок». Одноклассник главного героя, Вадим Лопухин, предлагает ему дружбу и покровительство — «чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми». На деле членство в «кружке»

и покровительство Лопухина подразумевают не какую-нибудь продуктивную деятельность, а знакомство с некоей барышней по имени Наля Р., которая «прошла огонь и воду и медные трубы, умна, как бес, весела, как француженка, и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи». Эта же Наля, по идее Лопухина, должна Арсеньева «немножко образовать». Проще говоря, привилегии гимназиста-дворянина перед «всякими Заусайловыми» ограничиваются только развязностью в поведении и сексуальной раскрепощенностью.

Сразу после ухода из гимназии Арсеньев посвящает все свое время литературе. Именно главы об этом периоде написаны в форме эссе о Пушкине, Тургеневе и других. Так что уход из гимназии — это еще и бунт: против мнимого, сугубо формального аристократизма (больше напоминающего карикатурное гусарство) ради подлинного, литературного, укорененного в традиции.

КТО ТАКИЕ ПИЛА И СЫСОЙКА И ПОЧЕМУ ИЗ-ЗА НИХ БРАТ АРСЕНЬЕВА СТАЛ ПОДПОЛЬЩИКОМ?

Во второй части, рассказывая об увлечении старшего брата идеями народничества, главный герой задается вопросом: «Что побуждало брата... весь жар своей молодости отдавать “подпольной работе”? Горькая участь Пилы

и Сысойки?» Современному читателю эти имена вряд ли что-то говорят. Сверстнику Бунина и его персонажа Арсеньева они были хорошо знакомы. Пила и Сысойка — персонажи весьма популярного в 1860-е годы очерка писателя-народника Федора Решетникова*¹ «Подлиповцы», два крестьянина, одного из которых условия жизни в пореформенной России ввергают в нищету, а в другом пробуждают жажду бунта. Их упоминание в «Арсеньеве» — очередная отсылка к русской литературе XIX века, только уже не к Пушкину и Тургеневу, а к куда более специфической, публицистической ее линии, кругу «Современника» и «Отечественных записок». Как и во многих других случаях, Бунин тут объясняет мотивировки поступков героев, ссылаясь на влиятельную для времени действия романа литературу. Книга в «Арсеньеве» не только формирует вкус героя и его представления о мире, она может влиять на принятие конкретных и весьма непростых решений, побуждает к действию.

ПОЧЕМУ В РОМАНЕ ТАК МНОГО СТРАНИЦ ПОСВЯЩЕНО СМЕРТИ?

В «Арсеньеве» действительно очень много описаний смертей. Умирают

маленькая сестренка Надя, бабушка Арсеньева, Писарев, муж сестры героя (у него тоже «литературная» фамилия). Но едва ли не больше внимания уделяется смертям вовсе незнакомых герою людей: гибнет некий деревенский мальчик Сенька (выбор имени эпизодического персонажа не случаен — уменьшительное от «Арсений», очевидная параллель с фамилией главного героя) — и за этим следует настоящее эссе о смерти: «Есть люди, что... с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни). <...> Вот к подобным людям принадлежу и я». Умирает популярнейший в 1880-е годы поэт-декадент Надсон — и это вызывает в душе Арсеньева невероятное потрясение: «Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, “утопавший в цветах”, отправлен для торжественного погребения “в морозный и туманный Петербург”, я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец стал тревожно поглядывать на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя». Сам Бунин не только был потрясен смертью Надсона, но и опубликовал в 1887 году стихотворение его памяти («Над могилой Надсона»), очевидно отсылающее к «Смерти поэта» Лермонтова, — оно стало дебютом Бунина в печати:

*¹ Федор Михайлович Решетников (1841–1871) — писатель. Служил чиновником в Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Писал очерки, рассказы и повести о горнозаводских рабочих, жизни бурлаков, женской эмансипации. Публиковался в «Современнике».

Умолк поэт... Но вечно будет
Он жить в преданиях времен,
И долго, долго не забудет
Отчизна лиры его звон!

Кончается роман тоже смертью — Лики, которая просит, «чтобы скрывали от меня ее смерть возможно дольше».

Но у повышенного внимания к теме смерти есть и другие, более сложные причины. Одним из первых о них заговорил Федор Степун в рецензии на роман: «Тема памяти сущностно связана с темой смерти. Читая “Арсеньева”, всем существом чувствуешь, что преобладающая глубина бунинской памяти

есть реальная власть над обезображивающим беспамятством большевизма, что она не просто память, но уже вечная память панихиды».

Здесь же он отмечает: в «Арсеньеве» нет ни слова о том, что описанный мир исчез, что его больше нет, тем более — что он разрушен Гражданской войной и большевизмом. Отчасти потому, что Бунин не исключал, что создаст продолжение романа и даже опишет судьбу героя в 1917 году и позже. Отчасти потому, что именно тема смерти, отчетливо звучащая в романе, делает его хроникой умирания старой, патриархальной, дворянской России.



Михаил Клодт. Село в Орловской губернии. 1864 год

«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА» — ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ?

Первые же читатели романа отмечали, что в нем чрезвычайно подробно описаны быт и вообще специфика эпохи конца XIX века. Федор Степун, перефразируя известную формулу Белинского о «Евгении Онегине», прямо называл «Арсеньева» «энциклопедией русской жизни»: «Заснята Россия исключительно чувствительной камерой. Засняты все области: север, юг, запад и восток. Ее пейзажи, веси и города, губернские соборы, дворянские усадьбы, вокзалы, деревни... редакции провинциальных газет, присутственные места, красные коврики под начальственными штиблетами... мещанские рукомошники».

Правда, из этого пассажа можно сделать вывод, что «Жизнь» — это всего лишь подробный физиологический очерк, описание быта: как устроены дворянские усадьбы, какие отношения были у помещиков с крестьянами, какой была система образования в гимназиях и т. д. Но всего этого в «Арсеньеве» не найти. Зато тут подробнее описано, как пахло в коридорах гимназии. Мы не узнаем, например, сколько стоила форма гимназиста или как она выглядела. Зато Бунин описывает «пыльные окна, нагреваемые городским солнцем», духоту и тесноту шляпной мастерской, где ему выбирают гимназическую фуражку. В странствиях

Арсеньева тоже описаны не города, а эмоции, которые они вызывают у героя. Не топография или архитектура, а цвета и запахи: Витебск встречает героя «лиловыми, голубыми и гранатовыми» шубками гуляющих по улицам девушек и «антилопными» взглядами юношей. Ни слова о том, что Арсеньев приезжает в черту оседлости, город, где дозволено жить евреям, никаких описаний быта еврейского местечка, которое бы обязательно нашлось в «энциклопедии русской жизни», физиологическом очерке, мы тут не обнаружим. Так что Степун все же грешит против правды, применяя формулу Белинского к «Жизни Арсеньева»: это ни в коем случае не историко-бытовой очерк и точно не альбом фотографий России XIX века. Здесь описано как раз то, что оказывается за рамками очерка, чего фотография передать не может. Чувства, запахи, полутона ушедшей реальности. Не быт, а те ощущения, которые были с ним связаны. Что само по себе гораздо ценнее, чем информативная и подробная энциклопедия.

ПОЧЕМУ ВМЕСТО ПОЕЗДКИ К МЕСТУ СЛУЖБЫ АРСЕНЬЕВ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ?

Поведение главного героя в «Жизни Арсеньева» далеко не всегда подчинено бытовой логике. В четвертой части, после скуки в деревне и нескольких юношеских

любовных увлечений, персонаж принимает решение устроиться на службу в редакцию провинциальной газеты. И отправляется в Орел, но по дороге внезапно меняет маршрут и начинает порывистое путешествие по России. Почему он так поступает, прямо не объясняется. Мы вдруг видим Орел и всю европейскую часть России с высоты птичьего полета: «...там, вдоль вокзала, — великий пролет по всей карте России: на север — в Москву, в Петербург, на юг — в Курск и в Харьков, а главное — в тот самый Севастополь, где как будто навеки осталась молодая отцовская жизнь...» — и Арсеньев начинает метаться между этими географическими точками.

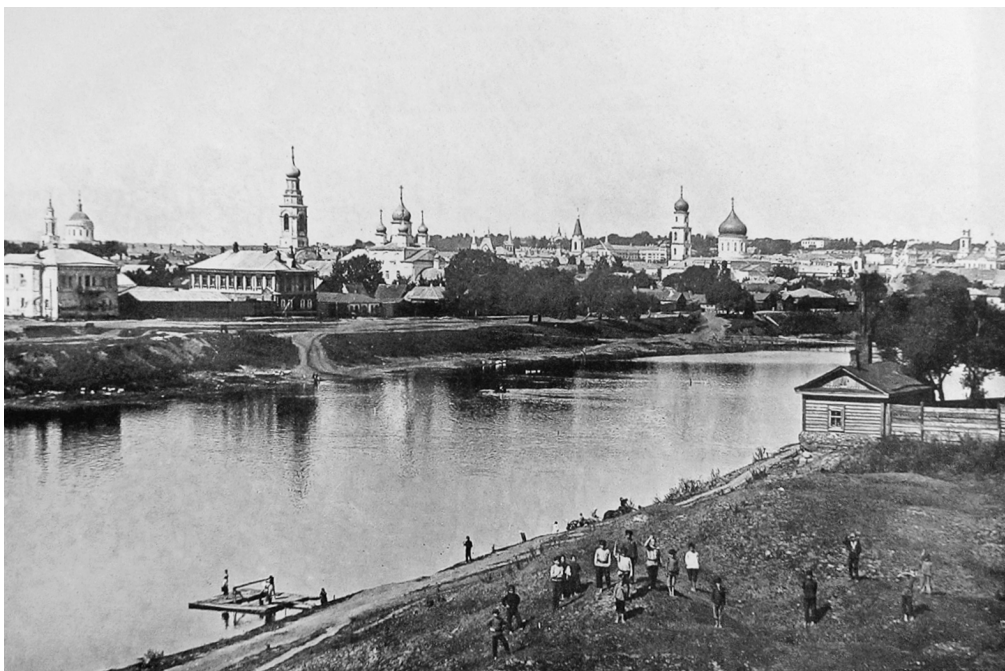
Стоит обратить внимание, что Арсеньев нарочно выбирает «литературные» места на карте. Помещичий юг — Орел он прямо называет «городом Лескова и Тургенева». Крым «Севастопольских рассказов» Толстого и семейных преданий: «Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны: какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особенного времени, что называлось “крепостным” временем». Поездка в Петербург — тоже порывистая, внезапная и необъяснимая — оборачивается попыткой пережить там все то, что обычно переживает «маленький человек» в большом, холодном и жестоком городе: «Петербург! Я чувствовал это сильно: я в нем, весь окружен его темным и сложным, зловещим величием». Одним словом,

герой снова примеряет на себя сюжетные, характерные модели русской литературы — и смысл путешествия именно в том, чтобы побывать внутри «Севастопольских рассказов», «Петербургских повестей», «Леди Макбет Мценского уезда» или «Отцов и детей».

ПОЧЕМУ ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА ОТДЕЛЬНО ОТ РОМАНА?

В финале четвертой части Бунин очевидно ставит точку в повествовании. Оно переносится во Францию конца 1920-х годов, описываются смерть и похороны когда-то случайно встреченного Арсеньевым в Орле гусара. Но после этого «Жизнь» продолжается, следует пятая часть. Она заметно отличается от предыдущих, да и опубликована поначалу была в «Современных записках» за 1933 год как самостоятельное произведение под названием «Лица». Но, как признавался сам Бунин, он «издал “Лику” [отдельно] только потому, что “Жизнь Арсеньева” уже была издана, но при первой возможности [то есть при публикации романа отдельной книгой] ввел ее как пятую книгу»⁵.

Действительно, стилистически она несколько выпадает из ткани романа и даже больше напоминает будущие рассказы «Темных аллей». Тут почти нет монологов и лирических отступлений, рассуждений и описаний — это линейное



Вид на город Орел с правого берега Оки. 1910-е годы

повествование о первой любви и первом опыте совместной, почти семейной жизни Арсеньева. Но именно эти отличия одновременно определяют место «Лики» в романе: это финал скитаний, рассуждений и сомнений главного героя. Жизнь с Ликой, любовь к ней и скорбь о прошедшем счастье становятся итогом всех переживаний молодого Арсеньева. Именно потому, что «Ли́ка» — стройная история любви, ее последняя фраза вполне может восприниматься как эпилог ко всему роману: «Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда».

ЕСТЬ ЛИ ПРОТОТИП У ЛИКИ?

Еще во время работы над финальной книгой «Жизни» близкие Бунина прямо спрашивали у него, есть ли прототип Ли́ки, существовала ли она (или женщина, сыгравшая такую же роль в его жизни) на самом деле. По признанию Бунина, он ввел в роман героиню «на основе только некоторой сути пережитого им в молодости». Впрочем, в своем дневнике Кузнецова приводит куда более откровенное высказывание автора: «Вот доказательство того, как относительно то, что существует или не существует! <...> Ведь я ее выдумал. Постепенно,

постепенно она начала все больше существовать, и вот сегодня во сне я видел ее, уже старую женщину, но с остатками какой-то бывлой кокетливости в одежде, и испытал к ней все те же чувства, которые должны были бы быть у меня к женщине, с которой 40 лет назад, в юности, у меня была связь».

С другой стороны, биографы Бунина прямо указывают на конкретный прототип Лики — корректора газеты «Орловский вестник» Варвару Пащенко, с которой Бунин прожил несколько лет и которая переехала вместе с ним в Полтаву. Но затем покинула его, как и в романе, лишь оставив записку («Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом...»), — правда, Пащенко, в отличие от Лики, бросила Бунина ради их общего приятеля, актера Арсения Бибикова. Совпадает даже смерть героини и ее прототипа:

как и Лика, Пащенко умерла от туберкулеза — только не вскоре после расставания с писателем, а много лет спустя, в 1918 году.

Как и все остальные описанные в «Жизни» факты биографии писателя, история отношений с Пащенко сама по себе не имеет значения: это лишь материал, а атмосферу, ощущения, окружавшие его, Бунин реконструирует средствами литературы. «Образ ее неясен? — писал Бунин Галине Кузнецовой о своей героине. — А мне казалось, что он ясно вышел — в смысле общечуженского молодого, в его переменчивости, порождаемой изменением ее чувств к “герою”, кончившимся преданностью ему навеки. Я только это и хотел написать, — не резко реальный образ, — резкость уменьшила бы его тайную прелесть и трогательность»⁶.



Жизнь
Арсеньева
Юность

КНИГА ПЕРВАЯ

I

«Вещи и дела, аще не написанныи бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написанныи же яко одушевленнии...»

Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе.

У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, — тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени, — и, значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через десять или двадцать умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. «Вот было бы счастье!» — хочется прибавить мне. Но кто знает? Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?

О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем! Я знаю только то, что в Гербовнике род наш отнесен к тем, «происхождение коих теряется во мраке времен». Знаю, что род наш «знатный, хотя и захудалый» и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода ни племени. В Духов день призывает церковь за литургией «сотворить память всем от века умершим». Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву:

— Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворех Твоих и в недрах Авраама, — от Адама даже до днесь послужившая Тебе чисто отцы и братии наши, други и сродники!

Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствовать свою связь, соучастие «с отцы и братии наши, други и сродники», некогда совершавшими это служение? Исповедовали

наши древнейшие пращуры учение «о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни», переходящего от смертных родителей к смертным чадам их — жизнью бессмертной, «непрерывной», веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был «осквернен», то есть прерван этот «путь», и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возрастать их родство, близость с ним, единым Отцом всего сущего.

Среди моих предков было, верно, немало и дурных. Но все же из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь: будь достоин во всем своего благородства. И как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними щит. И на лазурном поле его, в середине — перстень, эмблема верности и вечности, к которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками.

В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь заглохших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда — и не даром — царит какая-нибудь серая башня времен крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний, и петух на кресте, в небесах, высокий Господний глашатай, зовущий к небесному Граду.

II

Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видимым в окно, на юг... Только и всего, только одно мгновение! Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?

Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое.

Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них... Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространств, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему...

Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, — хутор Каменка, — главным имением нашим считалось задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворян малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стряпухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты-братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке... Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечереет летний день. Солнце уже за домом, за садом, пустой, широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в мире) лежу на его зеленой холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно свое. Плывет и, круглясь, медленно меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако... Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире! Вот я за усадьбой, в поле. Вечер как будто

все тот же — только тут еще блещет низкое солнце — и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, — затаенная жизнь перепелов. Сейчас они еще молчат, да и все молчит, только порой загудит, угрюмо зажужжит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с удивлением разглядываю: что это такое, кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем летел, что он думает и чувствует? Он сердит, серьезен: возится в пальцах, шуршит жесткими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое, — и вдруг щитки этих надкрылий разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, — и как изящно! — и жук подымается в воздух, гудя уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе, обогащая меня новым чувством: оставляя во мне грусть разлуки...

А не то вижу я себя в доме, и опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день, теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, меж высоких ножек какого-то старинного столика, — и, Боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядела на меня в окно, с высоты, какая-то тихая звезда... Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала?

III

Детство стало понемногу связывать меня с жизнью, — теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события...

Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправились

в ту заповедную страну, которая называлась городом, и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще утром выкатили из каретного сарая: да когда же наконец запрягут, когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета и что в дороге случилось вот что: в одной лощине, — а дело было уже к вечеру и места были очень глухие, — густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый и кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника «разбойник», с топором, засунутым за пояс, — самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро! Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в такой величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса.

Всего же поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, — а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом! А потом были еще две великих радости: мне купили сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово: «В аккурат сапожки!» — и ременную плеточку с свистком в рукоятке... С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого сафьяна, и этой упругой, гибкой